

Игорь Шестков "Аляска"

АЛЯСКА

1

Всю ночь о словах Георгия думала.

Что захотел – на Аляску он поедет работать и меня с Любкой заберет в эту морозилку! Раньше все в Якутск собирался, теперь – за Берингов пролив.

Говорит, не могу больше гнилые московские щи хлебать. На волю хочется.

Подальше от Кремля и Старой площади, смердит...

Встала. Сердце давит, на душе тошно.

Хорошо, ни мужа, ни дочери дома уже не было. Поцапались бы как кошки.

Обида меня гложет! Не то обидно, что так рано на пенсию отправляют, обидно,

что других не отправляют. Хрячиной – шестьдесят пять. Вечной нашей

политинформаторше Авдотьиной – шестьдесят восемь. Пролеткиной пятьдесят

девять. А мне пятьдесят семь всего. Девушка. Пять лет как докторскую

защитила. Как моя умница дочка шутит, – ливерную, кусочками.

Дочка эта... Тридцать лет, семьи нет и заводить не хочет. И живет с нами.

Ходил, ходил хахаль один, доцент с биологического, специалист по физиологии

грибов. Про лишайники рассказывал очень интересно. Цветы дарил... Зажарила

я как-то свежие опята с рынка – а он есть отказался, да еще обиделся почему-

то...

Любка говорит – с папой не то что на Аляску, на Северный полюс поеду. Мне

тутошняя голодуха и мутота обрыдли. Тут пока что поймут, тысячелетие

проходит, а до тех пор, пока жить по-человечески станут, еще тысячу лет ждать

придется.

Да... Обобрали меня на кафедре как липку.

Лекционный курс отобрали еще два года назад. Хоздоговор уже год как не

продлевают. Сомов сам ездил к заказчикам, уговаривал, объяснял... На

конференцию в Монреаль не пустили, хотя меня персонально пригласили

организаторы. Меня-то пригласили, а завкафедры и его зама – нет. В результате,

они оба туда ездили и мои результаты докладывали. Барахла навезли горы, а мне

– колготки подарили с молодухой, черти старые.

Аспирантов моих так запугали, что они сами от меня к Скребневу перешли. Лаборанта Гужова, уволили за пьянство и воровство. Так ведь он пил и воровал и когда у Фрошмана работал. Один раз керосин в аэропорту продал, самолет взлететь не мог. Четыреста термометров разбил, подлец, чтобы из них спирт высосать. У меня ползарплаты украл из письменного стола. Правда, через полгода вернул.

Напивался Гужов до состояния риз и шел в морозильную камеру спать. Говорил, что «на холоде, очищается душа». Ватниками укрывался и дрых в ушанке, рядом с образцами. Руки у парня были золотые...

Электронный микроскоп Пролеткиной отдали. В университет марксизма-ленинизма три раза гоняли. В юбилейный сборник статью не взяли. А в конце еще делегировали в научный совет при Комитете по охране окружающей среды. А на закуску – отправили в Госкомиссию по БАМу.

В конце июня принимали. В ложбинах еще снег лежал. А под горячим сибирским солнцем – зеленело все. Красота. Просторы. От нежных листочков пар струился. Лимонницы порхали. Махаона видела божественного. Я букеты собирала, кору у березок гладила. А все остальные в комиссии пульку писали и ханку жрали как дьяволы. На дорогу и не смотрели.

Об охране природы тут и не думал никто. Рядом с дорогой все разворочено, мазутом и соляжкой загажено, автодороги разбиты, оврагообразование началось на подрезанных склонах, скалы не укреплены...

Речки разливаются, которых и на карте нет, железная дорога из-за подмыва насыпи оседает как хромая лошадь. Мосты такие ржавые и хлипкие, что по ним и ехать жутко, некоторые шатаются как гнилые зубы... Несколько станций роскошных построили – а ни городов, ни поселков за ними нет. А где есть поселки – там нет людей, делать там после постройки дороги нечего. Мерзлота свое берет – асфальт трещит, здания корежит. Огород тут не посадишь, холодно, снабжения нет. Людей держит только то, что податься им некуда.

Медведей видела в заброшенном городке – искали звери корм среди сгнивших мусорных баков. А там только ржавое железо валяется, черные деревяшки

вместо домов торчат, да старые поблекшие плакаты на покосившихся стендах как лохмотья висят.

БАМ – стройка века!

Десятки тысяч молодых людей с постоянного места жительства сорвали, миллиарды рублей старым, больным и детям не доплатили. Солдат нагнали. Многие энтузиасты получили особый подарок партии – клещевой энцефалит. Сколько от него комсомольцев-добровольцев умерло? Говорят, каждый год – по полторы тысячи скашивало. Спросить не с кого. Жизнь человеческая тут и копейки не стоит.

А самая большая неожиданность на дороге – скорость. На многих участках можно, не боясь отстать, из вагона вылезти и цветы собирать. На всех южных склонах – желтяки и синюшки сплошняком.

Тут не принимать, а по-новой строить надо. Осматривала полотно после того, как товарняк проехал с рудой. Стыки разошлись. Болты из шпал повылезли... Хоть ремонтную бригаду вызывай.

Не спеша подъехали к огромному горному хребту. Я уже приготовилась по тоннелю тащиться. С детства не люблю. Ан нет – главный, Северо-Муйский тоннель так и не пробрили. И неизвестно, пробьют ли, тектонические разломы там, сейсмика коварная. Радон. Полсотни людей там пульпой прибило... В семидесятые еще.

Поехали через перевал на автобусе. Не для слабонервных дорога. Автобус ерзал на мокром гравии как теленок на льду. Казалось – вот-вот в пропасть покатымся. Председатель комиссии, академик Ёлкин, трясся как осиновый лист. У его заместительши, Палкиной, истерика началась. Ёлкина коньяком отпаивали, а Палкиной глаза завязали. Обняла ее, а она, дура, хнычет: «Мариночка, если я умру, позаботься о Машке, Павлику ребенка не оставляй, добейся, чтобы бабушке и дедушке отдали...»

Обещала ей все, а она мне вечером официально заявила при всех: «Вы, Марина Петровна то, что я там, на перевале говорила, в голову не берите, забудьте, это у меня нервы... Павел Сергеевич – примерный муж и отец...» А у самой глаза испуганные, как у прибитого щенка.

Приняла тогда наша комиссия эти участки. А что прикажете делать?

Перестройка-неперестройка, у нас все по-старому. Нас послали, чтобы мы подписали протоколы, мы и подписали. Напоследок Ёлкин нам сказал: «Все понимаю. Хотите бороться? Боритесь. А я пас...»

А дорогу МПС на баланс повесили. Пусть железнодорожники с ней дальше мучаются. На кой этот БАМ кому нужен? Возить там некого и нечего. Лёня давно в ящик сыграл. Денег на разработку новых месторождений нет. Порт в Советской гавани так и не построили.

Мне бамовское начальство чучело лисы подарило. И маленький кусочек рельса. С гравировкой – «Станция Гоуджекит».

На даче, сказали, цветами займешься...

Флоксы разведу. Душистые цветы. Радостные. Весь участок засажу флоксами. Пусть соседи носы зажимают. Картошку посажу. Надоела польская. Желтая какая-то. И на вкус – мыло. Морковку и укроп. Яйца буду у дяди Мити покупать. А молоко – у бабы Мины. Если она свою буренку не зарежет...

Не знаю, как до троллейбуса дотащилась. Старая кляча. Мениск на правом колене опять в сторону съехал. Повязку наvertsела, а что толку. Сколько мне уже костоправы операцию предлагают? С тех пор как тогда с бревна упала. Вот же дура была – спортивной гимнастикой занималась! Сборы. Сборная.

Соревнования. И что от всего этого осталось? Одни болячки. Хорошо шею не сломала как несчастная Леночка Мухина.

Главный спортивный врач Масальский запугивал – ходить не сможешь! Ничего, тридцать пять лет хожу. И еще двадцать пять протащусь, если Бог даст... И с сердцем – тоже самое. Консилиум в академической больнице. Профессор Лопатин. Без операции проживете три-четыре года, максимум пять лет...

Двадцать лет уже живу. Потихоньку-полегоньку. А те, кого тогда резали, все в сырой земле...

Почему я вся дрожу? Георгий говорит – радоваться надо, что живая из этого змеюшника вырвалась. На заслуженный отдых... Руки трясутся и холодный пот по хребту. Как тогда...

Было мне восемь лет. Разбил в тот летний денек братик мой несмышленный,

Баша, бьют Сталина во дворе нашего дома, на Авиамоторной. Прямо по гипсовой роже заехал. Камнем. Нос отбил и часть щеки. Весь двор видел. Многие тут же окна закрыли, чтобы на Сталина безносого не смотреть. Вечером мать и Биба ареста ждали. Башу выпороли. И мне под горячую руку досталось... Биба выпил, а мать перед сном горячо молилась. На тумбочке у нас иконка стояла. На жести печатка – Божья мать Казанская, дореволюционная. В жуткой тишине спать легли. В нашей семиметровой комнате. Мама с Бибой на койке, а Баша и я, как обычно, – под столом, на матрасе. Я была девчонка вздорная, взяла эту иконку и к стене отвернула, схулиганила. Все заснули – мать сопит, Биба храпит, Баша-брат ворочается во сне, потирает больное место. А я долго не могла заснуть, страх меня терзал, что без матери останусь. По хребту пот холодный, под животом – спазмы.

И вот, вижу я – открывается наша дверь и входит к нам в комнату какая-то женщина. В темном балахоне или плаще с капюшоном. Присела рядом с нашим столом и синий шелк от лица отбросила. И вижу я, что это сама приснодева Мария к нам зашла. Носик прямой, губки точеные. Глаза огромные, на лбу – жемчуга... Посмотрела она на меня ласково и сказала: «Не дрожи, девочка, все будет хорошо. Зачем же ты, Мариночка, меня к стенке повернула? Я хочу всегда с вами быть!»

Улыбнулась мне как солнышко и ушла.

Не тронули нас тогда, но через три месяца из комнаты выселили. Мать лежала в это время в больнице. Плеврит у нее был гнойный. Биба на фронте шоферил. А меня с братом сердобольные соседи приютили. Дядя Петя и тетя Нюра.

Однажды, когда тети Нюры дома не было, дядя Петя меня невинности лишил.

Не страшал, не бил. Уговорил. Пыхтел, пыхтел, да так и не кончил...

Господи, прости мне мои грехи, лишь бы дочь и муж здоровы были. Помоги, помоги, Заступница сирых! Переведи все их хвори на меня...

Проводы на пенсию. Похороны без гроба. Все будут так сладенько смотреть – как на покойника. Я покойник и есть. Забывать все стала. Вчера забыла Георгию галстук повязать, – так без галстука и поперся в совет. Ученый секретарь. На Аляску он поедет! Тут бы до работы без инфаркта доехать...

Обступят и в лоб целовать начнут. Сомов, Скребнев, Тухманский, Фрошман, Удушкин... Профессора наши, жеребцы науки. Даже полумертвую боятся. Убили, выпроводили. Нет, будут жирными жопами юлить. Марина Петровна, вы наш лучший кадр, старейшая выпускница кафедры, третий наш доктор, автор классической монографии... А сами из нее главами крадут. И не ссылаются. Живую на куски растаскивают.

Даже консультантом не оставляют. У Удушкина руки затряслись, когда я про часы спросила. Чуть в истерику не впал. Семьдесят семь лет старику. Все настоящие мужики пять раз умереть успели. Этот живет и деньгу копит. А ведь еще студенткой меня знал. Подкатывался. Мариша, какая у вас фигурка точеная. Заходите, Зайра Айзековна в Кисловодске... Чайку бы попили... Коллекцию вам покажу. Опалы из Казахстана. Сам собирал. Медовые, оранжевые тона. Турмалины из Нуристана... Баснословные камни... Бразильские аквамарины... От нервных расстройств помогают. И белая рыбка есть...

Заливал, а глазами мне бедра ел. До сих пор слюни пускает. А на защите бросил мне единственный черный шар. Секретарша по секрету рассказала. Сверху лежал бюллетень...

Все заранее знаю. Фрошман будет заикаться, картавить и ручку целовать. На здоровье жаловаться. А он здоровее всех нас. Бегун на длинные дистанции. Услышит что-нибудь в полууха или подсмотрит в полглаза, а через неделю готовую статью несет. Мышка-Норушка. Сам с неба звезд не хватает, а чужую идею мгновенно раздраконит. И материал как свой представит. А язык – как у Тургенева. Ни ошибки, ни опечатки.

Хрячина подарит что-нибудь. Сувенир. Открывалку. Или пепельницу. Еще и гравировку сделает. Дорогой Марине от бывшей научной руководительницы. Или – победившей ученице от побежденной учительницы. Так и не простила мне мою докторскую. Георгия у меня отбить пыталась, выдра старая! В экспедиции, на Мертвой дороге... Я тогда, неизвестно как, дизентерию подхватила. В палатке отлеживалась. А она, доцент, студента кадрила. Подружки слышали. Товарищ Гуриели, правда ли, что вы княжеского рода? Расскажите про могилу царя Мириана...

Тухманский, профессор-нефтяник, туману напустит. Романс споет. Козловский наш. А душа у него – чернее нефти. Павликом Морозовым всю жизнь служит. Предупреждал меня знакомый университетский гэбэшник, бывший однокурсник, – держись от этого старика подальше. Он на тебя уже два раза стучал. Хорошо, что мне в руки попало.

Завкафедры Скребнев – в упор ненавидит. С ним легче. Не надо цацу благонамеренную из себя строить. Можно и зубы показать.

А Сомов, зам, будет как всегда за его спиной прятаться. Когда-нибудь он шефа подсидит... По глазам вижу.

Ненавидят они меня и боятся. Чуют, что могу несчастье накликасть.

Помню, проходили мы на Воркуте производственную практику... Еще при Сталине. В забое, на глубине восьмьсот метров. Залегание угольного пласта контролировали, выработку планировали по штрекам, помогали инженерам. Жарко было там нестерпимо. Душно и страшно. Одни зеки и охрана. Мы для зеков развлечением были. Они нас подкалывали, но не обижали. Другие важничали, а я нос от них не воротила. Разговаривала, если охрана разрешала, отправляла письма на волю.

Случилось так, что в одном забое два брата работали – Иван и Алексей, украинцы, из угнанных в Германию... Много их тогда в шахтах вкалывало. Не понимала я тогда ничего, дура... Думала, они предатели, полицаи... Старший – Иван, шальной мужик лет тридцати пяти, втюрился в меня без памяти. А младший брат его был вроде как юродивый или слабосильный. Про него говорили – в голод помешался. Хлеб у всех просил. Работать отбойным молотком он не мог, подносил что-то, а чаще – на корточках сидел и кудахтал, как петух, если охрана не видела. Иван его защищал, заботился о нем, пайку ему свою отдавал...

Стал Иван как-то ко мне приставать – Мариночка, полюбите меня, шесть лет женщин не видел, изнемог. Ну и все такое... Что-то я ему грубое сказала. Он в бешенство впал. Схватил топор и запустил им в меня. И вот, вижу я, летит топор, как томагавк – прямо мне в лицо. Но, примерно посередине между мной и Иваном – направление полета меняет. Как будто его какая-то незримая сила в

другую сторону направила. И прямо в Алексея, брата иванова младшего. Вошел топор ему в висок, на месте убил...

У входа в метро «Проспект Вернадского» остановила меня цыганка. Чернявая, не молодая, на голове – красный платок, платье пестрое ситцевое, куртка грязная, руки нечистые, глаза зеленые, как у кошки. В руку вцепилась и всем телом ко мне прильнула.

«Дай погадаю, женщина, расскажу, какое тебе сегодня счастье выйдет!»

В голове мелькнуло – может действительно, приеду, а мне объявят, что мне дальше работать можно, что мой курс мне оставят и семинары... И не придется мне мужу на шею садиться...

Гадала цыганка минут пять, потом в сторону от меня метнулась и исчезла, как царевна в сказке. Я заметила, что у меня на безымянном пальце моего любимого золотого кольца с рубином нет – украла, гадина. Бросилась за ней. В последний момент за шиворот схватила, не дала в поезд вскочить.

«Не отдашь мужнина кольца, в милицию не пойду, а на этом самом месте тебя убью, на части раздеру».

Цыганка поняла, кивнула и по подкладке юбки шарить стала. Долго возилась, вытащила кольцо, отдала его мне, сердито посмотрела и, уходя, закричала:

«Жишь, жишь, пропадешь как тень, полетишь как сорока...»

2

Проводили меня неплохо. Сабантуй устроили. Букет вручили. Лаборанты туш пропели. Кто-то проигрыватель притащил – Вертинского крутили. Танцевали. Тухманский гитару приволок. Спел в мою честь романс – «Не уходи, побудь со мною».

Спиртягу глушили как молодые. Ели бутерброды и свежие пражские пирожные, у «Литвы» купила, в кулинарии...

Сомов отличился – танцевал-танцевал со своей старой пассией, Пролеткиной, а потом вдруг за горло схватился, посинел весь и прохрипел: «Вызовите скорую, не могу дышать...»

А скорая долго приехать не могла – гололед сегодня жуткий. Так он тут у нас и

хрипел целый час. Валидол жевал. После отъезда скорой не пили больше и не танцевали. Испугались старички. И как будто подобрели.

Скребнев молчал. На меня ни разу не взглянул. Даже рожу не скривил. Тяжело вздыхал. Может, о сыне думал.

Жуткая история. Десять лет назад весь университет только об этом и говорил, потом забыли, как все забывают. Сын Скребнева, Борис, доцент на кафедре истории КПСС, обедал со своей женой Аллой у тестя, профессора той же кафедры, Пластуна. Алла торопилась, поела-попила и на пару свою побежала, а мужа и отца оставила за столом. Показала после, что они заливную рыбу ели и обсуждали кафедральные дела. После того, как она ушла, что-то там, в квартире, произошло...

Примерно через два часа сосед домой пришел, доцент Сеницын, и услышал из-за стены глухие стоны и звериное как будто рычание. Сеницын вышел на лестничную клетку и ухом к двери квартиры Пластуна припал. И тут же отпрянул, потому что «расслышал крики дикие и неестественные кошмарные звуки». Начал, натурально, в дверь стучать. Никакой реакции. Пошел к себе и милицию по телефону вызвал. Милиция приехала, но долго роскошную университетскую дверь ломать не решалась. Потом все-таки сломали, ворвались... Все в квартире было сломано, разбросано. Старинный буфет повален, драгоценный мейсенский столовый сервиз на двенадцать персон с голубыми тарелками, супницей и этажеркой вдребезги разбит. В телевизоре торчала лыжная палка. Все грамоты Пластуна, на стенах в рамках развешанные – на полу валялись изодранные, собрание сочинений Ленина – в ванне утоплено. По воде седые волосы плавали...

Борис сидел на полу, у него на коленях лежал еще живой профессор Пластун. Борис грыз профессора как волк. На груди выгрыз плоти с кулак... На вошедшую милицию даже внимания не обратил. Рычал и жадно чавкал, до легких и до сердца добирался... Позже, в дурдоме поведал сын Скребнева врачам, что он оборотень, как и все преподаватели их кафедры...

Бориса в Кашенко отправили, а Пластуна сразу же прооперировали, но не спасли.

Удушкин расчувствовался.

Танцевал со мной, дифирамбы пел, даже Георгия, неизвестно зачем, расхвалил. Жаловался на возраст и бедность. Сообщил, что его злые люди оговорили. Тогда как раз объявили, что в Музее землеведения все лучшие экспонаты пропали. А Удушкин там пятнадцать лет директором был. Под его мудрым руководством и крали камни. Дарили почетным гостям. И удушкинским бабам перепало. И, хотя домашнюю коллекцию он еще до перестройки продал, от тюрьмы его только возраст и орден Ленина спасли.

Вспоминал Удушкин Гошу Рабиновича, своего бывшего аспиранта. Совесть его что ли мучила...

С Гошей вот что произошло. Был он в Якутии, на Эльгоне, в экспедиции. Золото они искали. Организовано было, как всегда, все по-дурацки. Кончилась у гошиного отряда вода. Стали в тайге родник искать. Нашли. И все пили. Геологи, специалисты! Вода была сказочно вкусная. Вокруг родника и палатки поставили. Вечером – недомогание у всех. К утру четыре человека умерло. Лучевая болезнь. Прямо у родника рядом с кварцами браннериты после нашли. Радиометр у них конечно был, и инструкцию все знали прекрасно, но уж очень пить хотелось... Несколько человек месяца три протянули. Только Гоша прожил еще год. Держался мужественно. В больнице крыл всех матом, врачи морфий экономили...

И, хотя Удушкин тогда маршруты для гошиной экспедиции визировал, все на Гошу свалили.

Тухманского я даже пожалела. Выглядел он плохо. Пел неважно, гитару уронил. Тоже, за семьдесят. Губы – как жабья кожа, зрачки трясутся. Кашлял долго, прослезился. Взял меня за рукав, отвел в сторону и дунул в ухо: «Прости, Марина! Ничего говорить не буду, ты все знаешь, прости...»

А по впалым щекам слезы текут.

Пролеткину весь вечер распирало – хотела мне наверное что-нибудь мне такое залепить, по-горячее, но сдержалась, а, когда прощались, тоже разревелась. И я с ней вместе. Сколько лет враждовали... А делить-то нам было нечего.

Электронный микроскоп последние два года у меня все равно без дела стоял.

Авдотьиная пьяная чёрти что несла. На нее и не похоже, партийная, дочь старого большевика, муж про Ленина книги писал...

«Слушайте, девки, что нам зам главного редактора Известий вчера поведал... Наворовали начальники большие тысячи. По всему миру запрятали. Теперь хотят все легализовать. Капитализм будут строить. Под себя – такой же, как социализм... Сами буржуями заделаются, а всех нас – в униженные и оскорбленные запишут. Вот ты, Маринка, переживаешь, что тебя Скребнев так рано на пенсию отправляет, а он сам по ночам трясется. Потому что всю науку прикроют, институты позакрывают... Кому они нужны? Только нам самим. Нефть есть, газ есть, алмазы, золотишко, никель – приходи бери, гони на Запад за валюту... Вот эти деньги и будут делить. А кого к кормушке не допустят, тот будет лапу сосать...»

Фрошман пригласил меня танцевать. Рассказал, что в Израиль собирается, к сыну.

«Здоровье никуда... Хочу погреться на старости лет, в Красном море с маской поплавать, хоздоговоры уже раздал, все уже знают и от меня как от чумы бегают... Может, там какую работенку найду. Завтра из партии будут выгонять... А мне, Марина Петровна, на партию эту...»

Раньше бы так, герой. Три срока партторгом отрубил. Персональные дела разбирал... Восемь лет назад за подачу документов на выезд профессора Соколова из партии выгонял... Старик так и не уехал тогда, умер от инфаркта... Вот оказывается, что Скребнева мучает! А я думала, сын. Все знают, что Фрошман – его кадр. Могут и с завкафедры погнать.

Хрячина мне роскошный барометр подарила, старинный, медный, из наследства отца-полярника. С надписью. Дорогой Марине Петровне от куларской экспедиции.

Вспоминали с ней Кулар. Расплакалась, старая курица. Вдруг начала о своем первом муже говорить, который где-то в Латинской Америке пропал...

«Вы, Мариночка меня не любите, я это знаю и на вас не сержусь. Вам наверно кажется, что у вас одной в жизни много неприятностей. А с моим первым мужем

такое случилось... Никогда никому не рассказывала, а вам сейчас расскажу. Мы с ним только два года прожили, первый брак, по большой любви или по большой глупости. Одно и то же. Закончил он географический и работал в институте США и Канады. Прочили ему прекрасную будущность. В комитетах ООН или Юнеско или других международных организациях. А вышло по-другому... Послали его в первый раз в Америку на месяц всего, научным референтом на конференцию... Вернулся он какой-то странный. Не то, чтобы больной или озабоченный, а какой-то чужой. Насмотрелся там, наверное, свободной жизни. Со мной дома почти не разговаривал, утром на работу торопился, а вечерами Голос Америки слушал. А дней через пять случилось это... Не могу без слез вспоминать... Ушел он на работу на час раньше обычного. В институте вскрыл бритвой себе вены на руках. Кровь в миску какую-то набрал. И прямо руками весь длинный белый коридор институтский антисоветскими надписями исписал. Мне после фотографию показывали. Жуть! Через полчаса пришел начальник, потом сотрудники подтянулись, а на стенах лозунги кровью – свободу Гинзбургу и Галанскову! Долой преступный режим КГБ и КПСС! И прочее... Сотрудники глазам своим не верили, а дурачок мой продолжал писать... И кричать на них начал. Мерзавцы, лицемеры, гебешные мрази! Убийцы! Умер он прямо в этом коридоре, кровью истек, никто ему не помог, все растерялись... Мне только вечером сообщили. Сказали, решение принято наверху, этот случай не разглашать. Во избежание... Запугали меня тем, что сына отнимут. Даже свидетельства о смерти мне не выдали. Так я и жила соломенной вдовой. Говорила всем, что муж в Гватемале без вести пропал... Только в перестройку выдали мне свидетельство о смерти, тем самым днем помеченное...»

Удивила Хрячина. Вот уж от кого ничего подобного не ожидала... Расцеловала ее. Подарила ей на прощанье ручку паркеровскую...

3

Вышла я на улицу. Холодрыга, сугробы. Снег валит. Темные фигуры на остановке. Серые лица, усталые. Автобуса ждут. Десять минут дрожала, плюнула, руку подняла. Повезло, тут же зеленый огонек увидела.

Молодой такой шофер, симпатичный. Вышел, дверь открыл заднюю, за руку меня поддержал, я влезла с цветами и барометром. Погнали.

У Юго-Западной нужно было развернуться, а он дальше покатил.

«Вы разворот пропустили! Но ничего, за метро – еще один есть, а-то до Кольцевой придется пилить».

«Развернусь, развернусь... Не беспокойтесь...»

А сам и второй разворот проехал, газанул, мимо церкви промчался, выехал на Киевское и дунул в сторону Внуково...

Я и не сразу поняла, в чем дело. Все о своих делишках думала. Спросила его чуть ли не весело: «Куда вы это меня везете? В аэропорт что-ли?»

«В аэропорт, в аэропорт! В подземный ерапорт с кротами и червяками... В общем так – молчи, тетка лучше. Все время молчи...»

Тут только у меня по коленкам страх пополз...

«Какая я тебе тетка? Я тебе бабушка, меня сегодня на пенсию отправили...»

«Бабушка, не бабушка, нам все равно...»

Поворот на Внуково мы проехали и еще минут пять по шоссе мчались. Потом таксист затормозил и на право свернул. Отъехал по лесной дороге метров триста и встал. Закурил. Повернул морду свою ко мне.

Попробовала я дверь открыть и выскочить – по рукам ударил и назад втянул. И кулаком в грудь врезал. Барометр из рук вырвал, открыл свою дверь и в лес швырнул. Я слышала, как он об дерево стукнулся и на куски разлетелся. Туда же и букет кинул. И сумку. Я заплакала...

А он за волосы меня дернул и прорычал: «Утри сопли, тетка! Сымай пальто!

Вынимай сиську, Витя Фотин хочет мамку сосать!»

И опять сильно в грудь ударил.

Я сознание потеряла.

4

Очнулась я в небе. В холодном, чистом, фиолетово-голубом небе Аляски. Летела я над большой, заснеженной, как будто треснувшей горой. Во все стороны разбегались от нее сизые хребты. Далеко-далеко на Севере белел Ледовитый океан...

В когтях я держала жирного, трепещущего полярного зайца. Искала на заснеженных скалах укромное местечко, чтобы не торопясь добычу съесть...